

Не было, кажется, в последние годы ушедшего века художника более беспокойного для читательского сознания, чем Виктор Петрович Астафьев. Похвалы ему были вызывающи, укоры слишком запальчивы. И те и другие одинаково неуверенны, словно обе стороны промахивались — и обнимали не того, и не на того гневались. Да, так оно и было, потому что спорили друг с другом одинаково злые, из одного корня проросшие идеи, не хотевшие знать своего родства или торопившиеся скрыть его. Наша демократия, по справедливому слову философа К. Свасьяна, бывшая только злой шуткой компартии, «последним постановлением Политбюро», надеялась обольстить художника пропиской по своим рядам, а сами коммунисты, не узнающие себя в кривом зеркале дурного своего порождения, — обвинить в потакании демократии и искажении великой войны.

Ну, а уж известно, когда схватятся идеи, до человека дела нет. И кто послабее, может, на месте писателя расточился бы в пустом гневе или замкнулся в одиночестве. Но Виктор Петрович не зря всегда твердил, что дело художника — работать как умеет, держать себя работой, а уж судьбы всегда найдутся. А что он не только говорил об этом, а действительно до последнего часа работал, особенно доказывали его «Жестокие романсы» — последняя книга, написанная именно в самые последние, жесткие, а порой и жестокие к нему годы.

И самое прекрасное в ней, что книга не хотела быть последней, не декларировала гордых задач, не норовила стать выше себя в обобщениях, не подводила итогов.

Ее герои опять казались знакомы душе, потому что мы долго жили в астафьевском мире и знали, что если кого нового и нанесет на нас, то он не издалека приедет и не из новой среды, а только первый раз нам «на улице» попадется, но будет из того же известного нам «простого народа», который «прост» в имени да неисчерпаем в судьбе.

И уж судеб-то мы там нагляделись. История наша позаботилась, чтобы человек «не расслаблялся» и не ронял себя перед русской литературой, годился бы ей в герои. Мало нас ждало веселого.

Колька-дзык (как раз из рассказа «Жестокие романсы») повоюет, похитрит на войне, покрутится на ней, покажет барачный, изворотливый и вроде ко всему приспособленный характер, а придет час — вызовет огонь на себя без всякого ненавистного Астафьеву «героизму», останется без ног и такую развернет послевоенную злую, наводящую смятение жизнь, что мужикам в его слободе только и останется напоить его, привязать к инвалидной его тележке да и с Богом утопить.

Рассказ начат в 60-е годы и, поди, тогда так бы вызванным на себя огнем и кончился, чем и тут военная часть отчетливо кончается. Но много с 60-х годов пожил и повидал Астафьев и выучился не прятать тяжелую правду и вот, переломив рассказ пополам, написал и страшный конец героической Колькиной судьбы, соединив обе части святой Колькиной любовью к романсам. Тут уж писатель вовсю свою нежную душу расточает, свои слезы не прячет перед каждой прекрасной мелодией. Ницше ког-

да-то с необыкновенной, совершенно русской глубиной сказал: «Все, что отняла у нас жизнь, возвращает нам музыка». Может, Виктор Петрович этой фразы и не знал, но правду ее сердцем чувствовал больше и вернее других. Умел он в старые времена восхитить читательское сердце «переводом» музыки в слово, начиная с незабываемого Штрауса, над которым плачет мальчик в детдомовской «Краже», и кончая великими очерками о Нестеренко и Образцовой. Умел и тут: «О, как она пела! Зажав струны костлявыми, длинными пальцами, эта уличная, по причине войны осиротевшая девка на глазах преображалась. Откуда-то выявлялась в ней пугающая народ грация. Напрягая горло и жилы на изогнутой длинной шее, пышноволосяя девка, небрежно откинув голову вбок, сощурясь, как бы надменно и величаво извлекала из нутра глубоко заглоченный звук, пропуская его через дыхательные пути, ценители сказали бы — через сердце, выдавала его бархатно обложенным, мягким, согретым, вкрадчивым таинством, не ведомым и самой певице... Не дай Бог шевельнуться, забазарить в это время, кулаком, костылем, что под руку попадет, тем и огреет Колька-дзык».

И жалко в эту минуту писателю и девку, и непутевого своего героя, и он их, как умеет, бережным своим словом и защищает. Слава Богу, это слово у него всегда было. И это он за них — за Кольку, за мальчика-солдата, бессильно плачущего от усталости и труда войны над нечаянной мелодией в телефонной трубке («Мелодия Чайковского»), за майора Проскуракова из рассказа «Трофейная пушка», за всех, любимых нами еще по прежним его военным книгам, любовь свою и выговаривает: «И жалости, той обычной жалости со словами и слезами, тоже у майора не было. Майору Проскуракову просто хотелось, чтобы жили люди, дошли бы вот до этого местечка, полежали бы на ломкой стерне, помечтали о еде и победе. Но ничего этого им уже не доведется пережить, хотя и живы они еще в воспоминаниях майора. Ему помнить друзей своих, болеть за них неутихающей болью. Еще утверждают где-то наградные листы на них, где-то они еще числятся на довольствии, где-то жена или мать в последних мыслях перед сном думает о них и желает им спокойной ночи. Так будет еще какое-то время, потом все остановится для мертвых, даже память

о них постепенно закатится за край жизни. Если их и будут вспоминать, то уже не по отдельности, как Ваньку, Ваську, Петьку — обыкновенных солдат, копавших землю, жаривших в бочках вшей, материвших Гитлера и старшин, норовивших посытнее пожрать и побольше поспать. Их будут числить и вспоминать сообща, как участников, может, и как героев войны. А они таковыми себя никогда не считали, и никто их при жизни таковыми не считал. И оттого сотрется лицо Ваньки, Васьки, Петьки, будет навязчиво проступать какой-то неуклюжий монумент в памяти, каменный, в каске, чужой совсем людям, безразличный».

И много их еще будет — тяжело после Победы доживающих солдат в рассказах и затесях «Связистка», «Салют», «Многообразие войны» и особенно в невыносимо горьком рассказе «Пролетный гусь», где умрет у молодых, едва вернувшихся с войны терпеливых героев сын, потом умрет от неподъемной работы и чахотки и сам молодой солдат и отчаявшаяся вдова бросит в могилу, как в лицо смерти и злу мира, его награды, и из духа все доживаемой военной чести даже и в церковь за утешением не пойдет: «Это что же, опять спекуляция, снова приспособленчество, желание прожить с чужой помощью. Нет, это уж пусть Мукомолы (сгоняющие в рассказе молодых солдат со свету, сытые, сразу пристраиваемые к месту, в отличие от бедующих героев, партийцы. — В. К.) и все прочие, на них похожие, живут, она уж раз отрешенная, жизнью рыбешка затертая, будто льдом в ледоход, как-нибудь сама со своими невеликими делами справится».

А из «невеликих-то дел» — только повеситься «по-людски», чтобы никого больше не обременять. И не знаешь, кого винить и как самому жить в мире, когда дочитываешь рассказ до мертво-спокойного его финала: «И добро. И ладно. Вместе дружно и не тесно, может, и теплее будет на другом свете, приветливее, чем на этом, давно проклятом и всеми ветрами продутом».

Старая это астафьевская тема. И так она во всю жизнь и не выболела в нем. Он уж и на генералов и маршалов кидался, и Жукову от него за эти военные и послевоенные жертвы попадало. Но в затеси «Без покаяния» уже и их жалел — маршала авиации Новикова, маршала артиллерии Борисова, адмирала Кузнецова и того же Жукова, но и жалея, не удерживался от главного, всю

жизнь мучающего его рассуждения: «размышляя над судьбами больших, главных людей войны, я думаю, что пали рано и кару незаслуженную приняли наши славные маршалы — победители и полководцы оттого, что не попросили прощения у мертвых, не повинились перед Богом, перед обездоленными женщинами, перед страдания неслыханные перенесшим народом своим... Есть такие тяжелые людские грехи, которые Господь и хотел бы, но не в силах простить».

Наивная это, конечно, фраза про Бога, который не в силах простить. Не встать нам на Господню точку зрения, но как она человечески прекрасна и понятна. И как это по-русски и в самой сердцевине по-христиански.

Конечно, порой уставало сердце и хотелось вместе с любимым им Гоголем спросить: что же все о мрачном, да о мрачном, не пора ли о «совершенном человеке», о «несметных богатствах русского духа»? Часто тоскует по красоте русский человек и ищет прекрасного героя, и обещает его читателю, как тот же Гоголь или Достоевский. Но тут, верно, прав Н. Н. Страхов: «Ждали долго, подождем и еще. Дело, как видно, нешуточное и немаленькое, коли сразу не дается».

Да ведь кроме того, с другой стороны, не слепые же мы и видели, как и посреди беды по-прежнему был нежен к человеку писатель, особенно к страдающему человеку, и как любовался им, как в прежние годы в «Пастухе и пастушке» любовался, в «Сашке Лебедеве», в «Звездопаде», в любимой им и нами «Оде русскому огороду». И ведь тут, в «Жестоких романах», любитесь он и Колькой-дзыком, и стойкостью молодых героев «Пролетного гуся», и спокойной уверенностью старшего лейтенанта Дроздова из рассказа «Пионер — всем пример», когда тот ровно, покойно и твердо хранит сначала своих солдат на войне, потом собратьев по лагерю, а там и саму захудавшую, но все живую нашу природу и вековечное русское достоинство перед высокомерным хамством нового демократического начальства.

Хорошо знать писателя долго и слушать, как подхватывает его память давние дорогие мысли и рачительно, по-хозяйски устраивает их в дело. Не от скупости, а от верного понимания Господних даров: коли мысль была послана и грела душу, значит, жива была,

да только, видно, «почва» для нее не сразу согрелась, чтобы ей как следует прорасти. А пройдут годы, глядишь, она и окликнет сердце. Так было с замыслом и развитием судьбы Кольки-дзыка, так было с рассказом «Венку судят», чью комическую сторону он уже тридцать лет назад хорошо чувствовал и готов был написать, да понимал, что и серьезный кончик нельзя бросить, добросердечие русское упустить. И вот дождался. И глянул из рассказа шукшинский Пашка Колокольников из повести «Живет такой парень» и та чудно живая нота, которая и сегодня нет-нет и прозвенит нам в непутевых героях «Весны на Заречной улице» или «Калины Красной».

Вот и в «Пионере», в последних страницах рассказа, когда усталый Дроздов едет в гости к старому священнику, которого берет когда-то на лесоповале, чтобы тот мог и там исполнять святые свои требы, я слышу отзвук давнего желания писателя привести одного из своих изувеченных войной и особенно послевоенной бедой героев романа «Прокляты и убиты» в сибирские леса к староверам, чтобы он там прикрепился к коренной русской земле и родной вере и нашел наконец опору и утешение. Сам Астафьев мог этого и не вспомнить, но мне в финале «Пионера» все мерещился тот несбывшийся ход и все хотелось вернуть героев романа и отправить их вместе с Дроздовым, чтобы и им просветила надежда: «Отец Никодим, перекрестив гостей и дозволив поцеловать крест на груди и руку, проводил их за околицу. Когда тронулись, Антон Антонович все заглядывал в лобовое стекло. Человек в древнем одеянии цвета рожалой черной земли бросал им вслед крестики, словно сеял зерна. А зерна, уроненные доброй рукой в родную, слезами и потом орошенную землю, всенепременно дадут всходы. Всенепременно!»

Вот и тем, потрясшим и измучившим наше сердце героям «Проклятых и убитых», хотелось вслед крикнуть про эти всенепременные всходы. И они бы слышали — сердце в них было готовое.

Нет, видно, так я и не пойму укоров, которые делали Астафьеву его сверстники, не вмещу их правды, потому что и сейчас не вижу в его беспокоящих и чаще плохо кончающих солдатах ни укора, ни поношения, а вижу только, что это неузнанные нами, но все те же старинные Платоны Каратаевы

и капитаны Тушины, да только на другой, увя, куда более беспощадной войне и посреди другой истории. И никуда из его прозы не подевалось старинное наше религиозное чувство правды, которое всегда отличало русских художников от Достоевского и Толстого до Фёдора Абрамова и Константина Воробьёва.

И с какой же это еще молодой силой было написано, как будто впереди еще ждала долгая жизнь! С каким временами юношеским озорством, старинной его любовью к словесной игре, к письму «со слуха», когда следом за бабушкиным укоризненным «коммунис» являлись боевые «канцямольцы» и не менее боевые «дефти», за которыми не сразу увидишь «девок». С какой по-прежнему радостной свободой и настоящей осенней зрелостью! В особенности там, где художник уходил в святой, не знающий человеческих страстей мир родной природы. Он возле нее и в старые годы спасался, даже и в войне не пропускал, советуя раненым собратьям «хвататься за травку». И в последние годы, как минута выпадет, бежал на дальние реки и, как встарь, привозил оттуда совершенные чудеса: «Таймень был в юношеской, а может, и в молодой поре, и все на нем цвело, все роскошествовало, пятнистый плавник наборной гармошкой, открытой во все меха, украшал крейсерски стройную спину... Он проплыл близко от моих ног... вроде меня и не заметив, величественный и надменный. Его как бы втягивала в себя подледная живая темень, он погружался в нее, оставляя под собою тень, и когда его не стало, тень еще какие-то мгновения оставалась на виду... Я лег на бок и еще секунду-другую видел рыбину подо льдом. И каким-то таинством пугающе дохнула на меня живая глубь. А потом, чуть опомнившись, сидел я на ящичке, потрясенно повторяя и повторяя:

— Остановись, мгновенье, остановись! Ты прекрасно!»

Сколько раз он восклицал это за жизнь — с детских лет, еще не ведая этой фаустовской тоски, не зная имени ей, но уже предчувствуя спасительную власть красоты, ее целительную силу. С «Последнего поклона», с начальной его «Зорькиной песни», да и раньше, раньше, с детского игарского сочинения о глухом озере, он молил мгновение остановиться? И оно было послушно и теперь глядит с его страниц в вечной длительности и врачует

не одного его, а всякого нового читателя, для которого иногда это и вообще первый опыт живого диалога с природой.

Русский пейзаж, прежде такой любимый нашей прозой и знавший великие образцы у Тургенева, Чехова (в его «Степи»), у несравненного Бунина, медленно сошел в прислуги, в пустую декорацию, а там и вовсе исчез, потому что проза окончательно «переехала в город». Но, слава Богу, с ним нам опять выпадало счастье вспомнить святую радость видеть, слышать и обонять мир: «Я принял ягоды и уткнулся в них лицом... Чем они пахли, эти ягоды, всюду по России растущие, и здесь, на старых недорубах, одарившие радостью мою артель? Если может пахнуть летняя земля, они впитали от нее самые тонкие, самые откровенные и все же чуть притаенные ароматы, среди которых ощутимее всех доносило тающим снегом. Этаким тихий весенний вздох. А еще они пахли всякой земной травкой, всякой былкой, всем, что жило, цвело и пело под летним солнцем в этом Богом нам подаренном мире».

Он слышал в этом «Богом подаренном мире» всё — не одни свет и радость. И когда природа поворачивалась страшной стороной, он и тут принимал и писал ее с простотой и основательностью человека, чувствующего себя ее частью, ее сыном и вместе хозяином, принявшим ее уроки и знающим, как устоять в ней. Как мы любили когда-то в «Царь-рыбе» эту их «семейную сродность», это слышание друг друга и взаимную оглядку в хитром ли Командоре, в добром ли Акиме, как жадно вчитывались, с удивлением видя, как еще природен человек. Теперь уж это в литературе реже, реже. И разве у него еще мелькнет с прежней силой, как в затеси «Стынь», когда зажмет мужиков в зимовье небывалый, редкий и для Сибири мороз, и они неумело, но уж искренне, так искренне перекрестясь, запрутся с собаками в стремительно улетающем тепле, и останется им только ждать да слушать, как на реке «что-то звенело туго натянутой струной, может, прорубь льдом схватывало, может, ледяную броню на реке резало, может, густо искрящие снега, в золу обращаясь, от стужи становили, или уж воздух, раскаленный добела, предсмертно звучал. Порой струны со щелчком рвало, и тогда злой, больно стрельнув в зубы людей, звук иглою пронзал рабски сжавшееся земное пространство, уносился неизвестно куда, скорее возносился к звез-

дам, к невидимому и даже неощутимому в тумане мирозданию. Если выразить этот звук словесно, он будет приблизительно таким: «Сты-ы-ы-ы-нн-нн-нь-нь».

Ах, жива земля-матушка и умеет еще показать себя, и жив русский художник, который примет ее вызов с восторгом и отблагодарит ее чудом слышания и понимания. Как к месту он вспомнил тогда хоть одну вот эту тоскующую, перехватывающую дыхание полноту забываемого слова «стынь» и тем вернул ему молодую свежесть и силу.

И нам в радость читать эти «затеси», как ему в свой час их писать. Читатель следом за художником укрывался в них на минуту от горечи жизни, от все неубавляющегося зла, которое к тому же потеряло сейчас прежнее открытое русское простосердечие, а изошрилось до «идейной» тонкости и теперь так иногда вырядится, что его того гляди за добродетель примешь.

Сколько он сам через силу, с тяжелым сердцем написал этого зла в последние свои годы, написал иногда по-детдомовски размашисто, прямо кулаками, потому что словами это зло не достанешь. И как нам было жаль, что он расточает Господень дар на «слишком человеческие дела», обескровливает слово в срывной публицистике, снижает его прямой уличной бранью. Но ведь без этого он был бы не он. Русский же, и как бы сам сказал, «моралис же, баушкой и родным опчеством воспитанный», как без того, чтобы все и всем сказать напрямую. Толстой вон все себя корил в последние годы, что пишет много, что это от «старческого самолюбия, от желанья, чтобы все думали по-моему».

Да разве он один? Вся русская литература такова — непременно «Выбранными местами» норовит кончить. Да и одна ли литература? Любой старый человек говорлив и назидателен. Это в нем жизнь говорит, ее опыт, ее самозащитный консерватизм. В шаткие времена тем более. Вот и защищается художник от себя и мира неизменяющей, милосердной природой: «Когда трудно засыпается, а с годами это становится навязчивой и почти больной привычкой, я воскрешаю в себе прошлые видения. Вот неторопливо иду я по лесу, чутко вслушиваясь и всматриваясь в глубь его и замечая всякое в нем движение, взлет, вскрик, наутре лесной птичий базар... Иду, иду, и сердце мое больное, изношенное,

тоже успокаивается, гуще лес, тише даль, наплывает сон. О тайга, о вечный русский лес и все времена года, на земле русской происходящие, что может быть и есть прекрасней вас? Спасибо Господу, что пылинкой высеял меня на эту землю, спасибо судьбе за то, что она... подарила въяве столько чудес, которые краше сказки».

Он закончил последнюю свою книгу этой светлой молитвой. И с этим же врачующим чувством и сегодня еще закрываем ее и мы. Но настоящего покоя нет. Мятёжный художник как будто минует в этой книге вопросы века, бежит от них, проговорившись с отворачиванием разве только в рассказе «Пионер — всем пример», где из балованного пионера, поджигающего брошенную избу из одного желания посмотреть, как она будет гореть, вырастет демократический депутат, который будет выжигать всю материнскую Россию.

А в остальном все — как в лучшие дни и годы, когда силы его были в расцвете и народная любовь к нему всеобща. Его молодые коллеги, да часто и сверстники бежали вперед сломя голову, к новым сюжетам и новому человеку, а он «отставал», договаривая старое, даже подчеркивая это старое ссылкой на давность замыслов, но это «отсталость» здоровой жизни, которой не надо забегать вперед себя, чтобы чувствовать мерный шаг времени, не совпадающий с суетливым календарем.

Оттого книга и казалась при рождении «очередной» и как будто знакомой героями и бытом. Но, вслушавшись, все-таки на глубине мы уже ловили сбивающееся дыхание нынешнего дня и нынешней тоски и тревоги, нынешней духовной неотчетливости. Гони мир в дверь, он постучит в окно. И покоя в душе не будет. Не будет и однозначного отношения к Виктору Петровичу Астафьеву, потому что теперь он так и останется там, предпочитая жить и погибать с человеком, с высшей его правдой, которую сам-то человек часто и уступить готов, да художник ему не позволит и тем убережет полноту, яркость, молодость и нетускнеющую свежесть жизни. Наш диалог с ним еще долго будет труден, но, как хочется думать, что Господь не зря время от времени посылает «круглые даты» юбилеев великих художников в надежде, что мы еще научимся слышать друг друга лучше и бережнее, потому что труд этот не кончается со смертью писателя, и, пока живы его книги, слава Богу, труд этот навсегда останется обоюдным.